

Глеб Иванович Успенский

Норовил по совести



Глеб Иванович Успенский

Норовил по совести

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665145*

Аннотация

«...Какое-то странное, не то слезливое, не то злостное бормотанье прервало мое тихое наслаждение. Мимо меня шел мужик в одной белой рубахе, ободранных холстинных штанишках и босиком. Лысая голова его была обнажена. Шел он как-то странно, не то очень торопился куда-то, не то, вдруг вспоминая что-то, останавливался и что-то бормотал... Скоро, однако, я разобрал, что причина такой странной походки была очень проста: мужик был пьян, и кроме того, когда он пробежал мимо меня, я увидел, что он еще к тому же и слаб и худ и что не он управляет ногами, а они несут его куда им угодно. ...»

Содержание

I	4
II	11
III	26
Примечания	27

Глеб Иванович Успенский

Норовил по совести

I

Был тихий свежий летний вечер. Я вышел из дому, который нанимал на лето в деревне, на улицу и сел на крыльцо, прямо на ступени. Легкая, влажная свежесть приятно наполняла и освежала грудь. На небе и на земле было чисто, широко, просторно и вообще «хорошо», покойно. Хотелось «просто» сидеть вот так, чуть-чуть не в забытьи, дышать, смотреть и *наслаждаться* тишиной и покоем минуты наступившего вечера.

Какое-то странное, не то слезливое, не то злостное бормотанье прервало мое тихое наслаждение. Мимо меня шел мужик в одной белой рубаше, ободранных холстинных штанишках и босиком. Лысая голова его была обнажена. Шел он как-то странно, не то очень торопился куда-то, не то, вдруг вспоминая что-то, останавливался и что-то бормотал... Скоро, однако, я разобрал, что причина такой странной походки была очень проста: мужик был пьян, и кроме того, когда он пробежал мимо меня, я увидел, что он еще к тому же и слаб и худ и что не он управляет ногами, а они несут его куда им угодно. Бормотанье его было не то пьяное мужицкое галде-

нье с ревом (необходимым, впрочем, для больной груди, желающей побольше вобрать воздуха) и гарканьем без всякого другого содержания, кроме крепких слюе, – нет, это было что-то до последней степени жалкое, детски-бессильное; таким голосом жалуются дети, когда крепко оскорбят их самолюбие. Нечто бессильно-визгливое, не имеющее возможности «как следует» разозлиться, слышалось в тоне его бормотанья. А что такое он бормотал, уверяю вас, не понял бы ни единый человек. Только слово «бог», повторявшееся довольно часто и всегда сопровождавшееся поднятием тощей, сухой руки к небу, только это слово одно и было доступно уху постороннего слушателя во всем, что выходило не то из сжатых губ, не то из беззубого рта пьяньегого мужика.

– Ишь! ишь! как его швыряет-то, – появляясь с лопатой и граблями на плече, произнес наш дворник, приготовлявшийся собирать в садике близ дома скошенную утром траву.

– Э, как двинуло!

Бессильные ноги мужика в самом деле несли его куда им вздумается. Под горку он несея мелкой рысцей, всем корпусом подаваясь вперед и каждую минуту ожидая падения именно головою вперед. Но «бог пьяньих» хранил его, и он, вместо того чтобы слететь с мостика в грязную канаву, что ожидало его неминуемо, вдруг заколесил так же проворно и так же еле держась на подгибавшихся коленках в сторону, ударился боком о загородь из жердей и, перевернувшись к ней животом, стал (очевидно, также невольню) заносить ногу

через низенькую загородку. Та сила, которая его несла куда ей было угодно, продолжала и тут, при перелезании, лихорадочно торопить его и в одно мгновение, прежде чем он перенес через плетень колесо, перебросила его на другую сторону.

– Н-на! – произнес Петр (так звали нашего дворника): – шмякнуло!..

Старика шмякнуло навзничь, и он со своей белой рубашкой совсем скрылся в траве, только рука поднялась, и опять послышалось что-то вроде «бог» – и совсем исчезла маленькая, маленькая фигура старикашки.

– Не ушибся ли он?

– Где там ушибиться! Там трава... Обстрекаться – обстрекается... Прямо в крапиву угодил... – И медленными шагами Петр отправился к загородке, чтобы посмотреть, не ушибся ли человек в самом деле.

– Ну, лежи, лежи!.. лежи смирно! – покойно и основательно произносил Петр, глядя через плетень в крапиву.

– Бог... создатель! О-о-о-н отец наш! – слезливо дребезжало что-то из-за плетня, и опять что-то забелело.

– Лежи, лежи! ну ладно, отдышись, очнись... Чего? Потому что пьянствовать не надо!.. Да! – слышались нравоучения Петра: – потому что пьешь! Ну, я уж, брат, не разберу твоих разговоров... лежи!..

И Петр так же медленно пошел назад, а за плетнем опять не стало ничего видно кроме травы – так тщедушен был ста-

ричок.

– Ничаво!.. проспится... Очкнется! Брякнулся словно на перину, и встать не хочется... любо лежать-то, прохладно... ха, ха!..

– Это ваш, мочалкинский?

– Наш, как же.

Петр пошел в сад, отгороженный прямо от крыльца, и, оттуда продолжая разговор, медленно приступил к работе.

– А отчего? Потому что нет в человеке ума. Доведись до меня, я б это дело в две секунды кончил... Взял бы вот топор и пошабашил сразу. И в Сибири люди живут, по крайности уж до эфтого бы не допустил...

Петр был человек не старый, лет тридцати, холостой и энергический. Он знал хорошо грамоте, думал попасть в Петербург в артельщики и теперь жил в деревне собственно для старухи матери, у которой он был один сын. К осени он полагал, что мать должна помереть (уж к Кузьме-Демьяну без сомнения), и тогда он тотчас уйдет в Петербург. Деревню он любил более с художественной стороны: луга, речка, рыбная ловля, зори утренние и вечерние, грозы, леса с птицами и ягодами – вот что было в деревне хорошо. Но народ деревенский уж не нравился ему, потому что он отведал столичного житья, видал людей и приучился рассуждать. «Бестолочь», «непорядки», «разини» – вот как характеризовал он большей частью деревенскую нравственность и ум и по своей суровости, даже иной раз какой-то жестокости полагал,

что над всем этим «разгильдяйством деревенским» «мало страху», что тут нужна строгость, что без приказания ничего путного не выйдет. В таком суровом взгляде на деревню немалую роль играло в Петре и довольно сильное чувство родства с этой самой деревней – чувство, как я не раз мог убедиться, оскорбленное тем беспомощно-глупым положением, которое, по мнению Петра, эта деревня, эта его близкая родственница, переживала изо дня в день и которое ей предстоит переживать, повидимому, несчетное число лет.

– Об чем это ты говоришь? – спросил я его.

– Да вот все об этом же! – сказал Петр, сгоня граблями в кучу с куртин высохшие и приятно шушукавшие клочки сена: – все вот об этом пьяненьком-то. Ну что это, нечто хорошо (остановившись и почему-то поплевав сначала на руки, а потом положив их на ручку грабель)? – произнес он вопросительно. – Живут двое с одною бабою! Ну аккуратно ли это? Ведь это так надо сказать: и у господ – и то в редкость, не токмо в крестьянстве... Срам! Пьянствуют трое целый божий день, вот уж который год не могут расцепиться!.. Доведись до меня, так уж я б не допустил такого безобразия... Прямо за топор: либо ее, либо его!

– Кого?

– Либо бабу, либо любовника. Как же иначе-то? На это закону нет... Хоть какой хошь закон утверди, а покуда живы, канитель будет тянуться, уж это верно. Там господь рассудит, так али нет? А что разводить этакую погань не приходится.

И опять, поплевав на руки, он быстро и далеко занес грабли и медленно потянул их к нараставшей куче.

– А ежели бы разойтись? Ведь тогда и без топора можно?

– Это как же так?

– А так просто – либо мужу с ней разойтись и оставить ее с...

– С любовником?.. Это я-то, муж (хоть бы я, например), так я и буду любоваться на них?.. Ну уж этого нет! Есть такие любители, чтобы ихних жен, ихний товар одобряли, ну моего на это согласия нет! Жена живи с мужем. Как любовник – так топор, и больше ничего, и весь разговор... А то как же? Разойдись! Как же муж-то? я-то?.. Да и как же это возможно, ведь, чай, мое доброе!

– Что это?

– Да жена?.. да чтобы я уступил? Даже вполне смешно это! Все равно ежели примерно купил я себе дом или что, и кому-нибудь он и понравился, так я и должен отдавать? Что ж я за полоумный такой?.. Мое так мое и есть. Как от меня прочь – тумака дал хорошего – шабаш. По крайности этого вот безобразия не будет (он указал по направлению плетня, где спал пьяненький). По крайности сам не будешь сердцем мучиться... В таком случае (Петр говорил медленно и отчетливо), то есть ежели жена например... то надо давать тумака жене. Долбани ее любовника, жена будет тосковать, вспоминать, и я покоен не буду, а как жену прекратил, тогда уж опять один и уж без надежды остаешься. Вот что!

Это, очевидно, был непоколебимый взгляд Петра на жену (сам он был холостой), на любовь и на измену. Он так определенно и веско выражал свое мнение, что я и не подумал спорить с ним. Я только спросил:

– А старик-то этот как же? Почему так не распорядился?..

– Старик-то?

Петр оставил грабли, подошел к самой загородке и, положив на нее локти, шопотом сказал:

– А потому старик не пошабашил с нею, что больно уж свят. Перед богом тебе говорю: совсем был спасен – угодник, одно слово; от ефтого рука и не поднялась у него! Вот и валяется теперь... вишь вот!.. А господь и разбойников и убийцев ведь милует. Отмолил, отпостил бы... А теперь что? Служил, служил богу, да вдруг дьяволу поклонился. Уж какой же тут расчет? Никакого нету расчету! Все и пошло невесть куда, хоть бы и не угождал богу-то... Вон теперь пьяный плачет, жалуется, все бога поминает. «Бог», «бог» – то и дело; а бог-то теперь и внимания ему не дает, потому что он такое? Свинья – больше ничего!

– А свят был?

– Боже мой, как свят! То есть по всей форме угодник. Именно, говорю. Вот пожалуйста мне папирочку – я вам объясню...

II

Петр сидел рядом со мной на ступенях лестницы, курил и рассказывал. Шапка у него была на затылке: «так свободней рассказывать-то»...

– Ямщики они были, значит, в старые годы... В старые-то годы Московская дорога ведь как гудела... Не дорога, а война была – одно слово! Теперича проезжайте вы по старому шоссе – весь путь на сотни верст почти сплошь застроен; села, города всё к дороге жались, все на версты вытягивались... Теперь только пустые дома, да лавки, да постоянные двory стоят; чем народ живет – неведомо. Теперь, примерно сказать, за сто рублей в год в городе отдадут вам с большим удовольствием целый дом, комнат в пятнадцать. Народу нет, дел нет! А прежде тут ключом кипело, и деньги большие наживались. У-ух какие деньги! Сколько с той дороги пошло по Руси тысячников, миллионщиков – сметы этому нету! Вот и Егоров отец – он Егор Петров прозывается (Петр указал на плетень, за которым валялся пьяный) – также тут орудовал. Также вот Петром прозывался, все равно как я... Родом-то они были здешние, наши мочалкинские, и дом у них тут был, ну а на дороге самый промысел, стало быть постоянный двор и ям... И из больших был мешков... Девяносто лошадей, стало быть по тридцати троек, ганивал в день и шумел далеко, очень шумел... Ну, греха таить нечего, день-

ги наживались всячески... Приезжий народ был (хоть бы и теперь взять) разный – и серьезный, и баловник, и все прочее... А Пётра-то был человек не задумчивый... Идут деньги, так бери! И брал со всего, то есть даже и нехорошо... Например дочери его... Дочери его тоже действовали... Потому народ ехал с деньгами, не то что теперь по чугунке за тридцать копеек едет человек сто верст, а в кармане кроме билета ничего нету. В ту пору в Москву ли, в Питер ли поднимался человек капитальный, помещик, купец, у всех деньги готовые, езда долгая, скучная, ну и баловались. И шибко баловались! до сих пор по дороге идут разговоры насчет этой жизни веселой... Вот Пётра-то и орудовал... Мало что дочерей, например, пожертвовал господам проезжающим (уж само собой не даром, и очень даже не напрасно), а и хуже бывало... Старичок какой-то ночевал у него с деньгами – и пропал. Пётра-то рассказывал (и все его сыновья, дочери и работник тоже рассказывали), что будто ночью за старичком подъехала тройка, а в тройке будто тоже старичок, из лица на Николая-угодника похож; взял, говорят, этого проезжающего, вывел из номера за руку, посадил на тройку и умчал... И так будто умчал, что и следов нету! Так ли точно было – неизвестно, но только что навряд, чтобы так... Начальство Петра не касалось – человек денежный; а надо быть совесть-то у него была не очень правильна. Стала подходить старость – стал пить. По ночам ходит, кричит, стал с семьей драться – и дочерей и сыновей возненавидел. Долго ли, коротко ли

так было, только, рассказывают старики, раз выехал он на тройке будто в город и мальчишку с собой взял – вот этого самого Егора, что теперь в канаве-то лежит... Тогда Егору не больше как лет под четырнадцать было... Самый был по следок и самый любимый отцов сын – потому еще не успел насобачиться, как братья его и сестры. Взял с собой Егора и уехал... Никому ничего не сказал, кроме что «еду, мол, в город...»

«Мало ли в городе дел у него было! Ну, ничего, уехал и уехал. Только неделя прошла, нет его назад; и месяц прошел – нет! И год – нет... Пропал старик, и сын пропал... Хватились – и денег нет: и деньги увез все; одно слово – бросил дом; «живите, мол, как хотите»!.. Куда делся, что случилось с ним – никому ничего неизвестно, словно вот сквозь землю провалился. И год прошел, и два прошло – нет! все нет ни слухов, ничего... В течение того времени все его хозяйство пошло дуром – без денег что уж за хозяйство, – да на беду по второму-то году ударила в его постоялый двор молния, и двор весь дочиста сгорел. Вскорости жена померла с горя, а дочери, бог их знает, куда разбрелись; сыновья в люди пошли, да и там что-то не уживались, потому легкое ли дело после своего-то хозяйства да в батраки к чужому идти? Пошло все прахом (что значит нечисто наживать-то! – прибавил Петр нравоучительно). И совсем было извелась о них память, как на четвертый год слышим: «Поймали!» Схватили их, Петра и Егора, где-то, изволишь видеть, на границе.

Грубить, что ли, Пётра-то зачал али как, ну только схватили их обоих и по этапу, значит, на место жительства, сюда...

«Воротились... Ску-у-учно стало старику-то глядеть на свое разоренье. Поглядел он, съездил на погорелое и так-то заскучал, затосковал. В ту пору мне было от роду годов девять – помню, что у нас по деревне разговору было об этом деле! Вот тут-то и обозначилось, где они пропадали. С этим вот самым Егором целые ночи, бывало, напролет не токмо молодые ребята, а и старые старики леживали, всё спрашивали: «где», да «как», да «что». И Егор так-то хорошо рассказывал – на редкость! И были они все эти четыре года в странствии, и всё по святым местам... Чуть, поди, в самом Ерусалиме не были. Что-то будто разговаривали об этом. И к затворникам-то и к схимникам заезжали и пещеры все, какие есть, прошли насквозь, то есть все, все начисто видели, всю святыню. И уж так-то хорошо Егор рассказывал, то есть ах как хорошо!.. И был он, Егор, в это время чистый, как монах: одно только и было у него на уме: «в монахи», «в монастырь», «спасаться». Ходил он в ту пору тоже почесть помонашески: скуфейка эдакая и пояс кожаный, а уж в храме божием он раньше всех, первый. Поет, читает, служит – сущий монах... Да и прямо сказать – самое ему место в монахи; всегда был он слаб, и силы в нем мало было; самое ему бы место – спасти душу, за нас грешных богу молиться, потому в крестьянстве нужен человек сурьезный, ну не то, чтобы, например, угодник или что-нибудь... Так все и полагали, что

будет он, мол, в монахах... Только что же?.. В монахи да в монахи, а Пётра-то, отец-то Егоров, свою линию гонит. Стало ему, сказывал я, тяжело на своем разоренье-то, скучно... Жаль ему стало, что все пошло прахом, все изведется, ничего не останется, и так он об этом тосковал, боже ты мой!.. и уже не было в нем прежнего разбойства ни капельки, то есть ни-ни – тоже ослаб, и устал, и покаялся. Жаль ему было так свет белый покинуть, род свой расточивши, и задумал он Егорушку женить. Деньжонки у него еще были кой-какие, и дом был, и задумал он все это вполне произвести. «Как внучат дождусь, говорит, то и помру – раньше ни за что умирать не согласен!» Зарубил себе эдаким вот манером, и все! Уж Егор и так и сяк, и просил и молил – нет, засело у старика: «Хочу свой род ободрить», и шабаш... И сосватал он Егору первую красавицу. Дом поправил, все свои остатки, то есть капиталы, уложил на новое их жильё, им отдал. «Теперь, говорит, – внуков! внуков мне!» Ждет – не дождется... Год прошел – нету... другой – нету... Стал старик тосковать, скучать, богу молиться, молебны служить. Между прочим и хозяйство идет плохо, ну – где уж Егору хозяйничать! И третий год прошел – и опять нет ничего! Совсем старик свалился. «Наказывает, говорит, меня бог за грехи мои тяжкие!» Грустить, грустить – на четвертую весну помер... Ну вот тут и стало обозначаться... Покуда отец был жив, муж с женой (стало быть, Егор с Авдотьей) как-никак – жили... Да и Авдотья-то хотя и красавица была, а еще понятия настоящего

не имела: молода была... Ну тоже и старика, чай, побаивалась, а пуще всего была довольна, что за богатым; старик-то ее всячески ублажал – и нарядами и всячески (надо быть, порядочно старик-то набил на ямской работе денег!). Ну она и молчала. Живет, молчит, ничего не чувствует... Ну а в три-то года она вошла в понятие. Опять ежели бы дети – так, привязка, уж тут крепко привязано... А детей-то и не было. Вот как умер отец-то, с полгода не прошло, видим, выскочил ночью Егор из дому, руки так-то к небу поднял, всю деревню разбудил – орет: «Господи! Не могу я в сей земной жизни быть, прибери ты ее», стало быть жену-то, «тогда я тебе слуга до последнего!»

«И с тех пор, как к вечеру дело, – глядишь, идет Егор по деревне: «Не пойдет ли кто, ребята, ко мне ночевать?.. Я, говорит, ее, дьявола, страсть боюсь...» Ну и ходили, бывало, мальчишки... Потом рассказывают, что там промежду них идет, боже защити!.. Вот раз и я попал ночевать. Лежу на печке и смотрю: ничего, все тихо, благородно; смотрел, смотрел я, слушал, слушал, ничего – покойно спят. Ну и я заснул... Только слышу крик... Продрал глаза-то, глядь – он, Егор, перед образом и все этак руки кверху. «Прибери ты, вопиет, ее, владыко, на тот свет, отец всевышний, не могу я этого!» А та в одной рубахе на лавке катается, волосы на себе рвет и, как бесноватая, кричит: «Злодей! злодей! варвар!» А Егор все перед образом: «Уж, говорит, услужу я тебе, владыко, освободи ты меня только, батюшка, от эфтого,

например, беспокойства!» А та: «Какой ты муж, какой ты муж!» все одно и одно... И почало ее бить, трепать – значит, это нечистый... Тут я уж так перепугался и не помню, что дальше... И заснул с испугу как мертвый. И пошло так каждый почесть день... Стал Егор пропадать: уйдет на день, на два; придет еле жив... Авдотья скучает, жалуется, а чтобы прямо баловаться – нет, надо сказать прямо, не баловалась, нет... Только по ночам с ней родимец делался... Ну вот Егор и пропадает. «Где ты это, Егорушка, пропадаешь?» спрашиваем. «А, говорит: все богу заслуживаю; уж, говорит, освободит он меня от этой муки-мученской...» И что ж бы вы думали? Ведь точно богу служил! Теперь вот хаживали вы в Турны, в церковь? Знаете дорогу лесом? Ну, ведь всю эту дорогу, почитай три версты, сам Егор своими руками сделал, все деревья выкорчевал, заровнял – ведь сами знаете, какая дорога! Прежде надо было вот какой крюк делать, эво куда, а тут он стрелой сделал. Ведь это только посудить надо, что тут труда, и все один!.. Да ведь это еще что! Вокруг нашей деревни пять сел, кое пять верст, кое семь, а кое и меньше, так ведь он ко всем церквям также дороги провел, сровнял, перекопал, мосты положил через ручейки, и всё сам, собственными руками... Вот не угодно ли, пойдете как-нибудь, я вам все это покажу... Удивления достойно, как человек себя обременял! Теперь от нас куда хошь иди – всё прямые дороги, да какие! где мало-мальски мокринка, камень навален, утрамбовано все в лучшем виде. На перекрестках часовен-

ки, то есть четыре столба, крыша и скамейка, а под крышей образок... И всё он, один Егор. Таким манером трудился он для господ не один год. Хозяйство его пошло все хуже да хуже, потому землю сдавал, а денег – сами, чай, знаете, как деньги-то отдаются? И все Авдотья – нет, нет и забунтует... Но Егор становился все серьезней. Как забунтует – он взял лопату, в полночь ли, за полночь ли, пошел...

«Хорошо... Вот когда ежели вам будет угодно, пойдем мы с вами посмотреть все эти Егоровы постройки, покажу я вам далеко в лесу одно место. Больше ничего, яма. Глубокая, глубокая ямища и ступеньки каменные вниз... Эту яму выкопал Егор для себя. Хотел уж начисто спастись, стало быть зарыться тут и богу молиться, а от миру отойти. Эту яму стал он рыть уж по шестому, либо по седьмому году после, стало быть, свадьбы-то. Про жену он уж в эту пору совсем и забывать стал и все в яме больше находился. Вот хорошо. Сидит он так-то однажды в яме, поет молитвы, вдруг голос:

«– Егор! а Егор!

«Оглянулся Егор, встрепенулся: думал, его не найдут, потому выбрал самое глухое место, ан над ямой-то стоит один наш мочалкинский мужик.

«– Что это ты, – говорит наш-то, – в яму сел?

«Тут и открылось, что Егор-то хотел душу спасти по-настоящему.

«Похвалил его мужик и говорит:

«– Стало быть, жену-то совсем покинешь?

«— Бог с ней совсем! не по мне это дело!

«— И то ладно, и то правда, — говорит мужик, — и давно пора ее поганой метлой вон из деревни выгнать, чтоб не безобразничала.

«— Как так?

«— Да как же? Уж давно твоя баба расхожая, а теперь вон со вдовым с мельником связалась. От этакого дьявола как, говорит, в яму не зарыться. Зарывайся, говорит, Егор, с божьим благословением! За нас грешных похлопочи как-нибудь. А баба твоя, прямо сказать, ничего не стоит.

«Сидит Егор словно бы каменный, сообразить ничего не может. «Сижу, говорит, сижу в яме, а зачем — неизвестно!» А тут, глядь, еще мужик набрел.

«— Что вы тут, ребята? Ты что, Егор, куда это залез?.. Аль в медведи поступаешь? ха-ха-ха!

«— Он душу спасти взялся, чего гогочешь-то?

«— Душу? Ну это хорошо. За нас — грешных похлопочи... Какую выкопал себе ямищу... Ловко! Право, ловко. Довольно искусно ты, братец мой, закопался. Ну а жену-то возьмешь с собой али нет?.. ха-ха-ха!

«— Что орешь-то, — говорит первый мужик, — чего горла нишь? Человек от всего отказался, до жены ль ему тут?

«— И то правда... Ничего! Зарывайся, Егорушка, зарывайся, ничего. Зачтется... А жену твою одобряют, хвалят... ха-ха-ха! Право! Ты вот спокою не нашел, а прочие ничего — «ладно», говорят...

«Тут Егор ровно бы очнулся.

«— Да верно ли?

«— Чего верней! — оба сказали.

«— А ты думал, она тебя ждать будет, покуда ты спасаешь-ся? — говорит балагур-то: — Ну, брат, это повременить надобно... Да!..

«Стал было его первый-то мужик останавливать, что нехорошо, мол, об этом разговаривать, подвижника огорчать, а балагур все свое; под конец того заспорили; балагур и говорит:

«— Как же ты свое добро позволяешь каждому обижать? Ну какой ты есть угодник? Какой ты есть человек? Разве ты хозяин своему добру? Ну, говори, хозяин ты или нет?

«— Хозяин, — говорит Егор.

«— Врешь! Ты вот в яме тут, а там твоим добром другой владеет... Ведь твое добро-то?

«— Мое!

«— Ну, так что ж ты за человек после этого? Твое или нет?

«— Мое!

«— И есть ты, стало быть, опосля этого дубина. Хоть ты спасаешься, хоть ты нет...

«Тут уж и сам Егор сказал:

«— Мое доброе!

«И встал с камня. А балагур ему:

«— Ты душу-то спасай, да и своего не забывай, дурак будешь... Кто свое доброе бросает, тот есть дурак, а не угод-

ник. Я б на твоём месте не так распорядился. По мне как хошь. Сиди тут в яме, сделай милость, ей во сто раз приятнее... да!

«— С кем она? — спрашивает Егор.

«— А со вдовым, с мельником...

«— Со стариком-то? С пьяницей?

«— Да вот, со стариком. Старик, старик, а должно быть, что посерьезней тебя вышел... ха-ха-ха!.. А ты, брат, ничего — сиди тут в яме-то, сделай одолжение!

«Выболтал, наболтал и ушел.

«— А ведь мое доброе-то!.. — говорит Егор первому мужику.

«— Обыкновенно твое.

«И с этих пор засело у него в голове «мое». Оно ведь и в самом деле — так точно, — добавил Петр от себя, — только что это надо завсегда помнить, а не забывать...

«— Мое, мое, мое, — говорит... — И вылез из ямы-то; ну и с этого часу все его спасение так и пошло прахом... Потому в таком деле надо делать дело правильно. Добро мое, так и поступать надо. Тут уж делать нечего, тут одно — топор, либо себе петля. Ну, а Егор-то — нет, не того ума человек. Все норовит «по совести»... Ну и вот что вышло!..

«— Я тебе муж! Я тебе глава! — говорит он Авдотье...

«— Это верно!

«— Как же ты смеешь против меня? Против закону?

«— А ты нешто соблюдаешь со мной закон-то? Ты вон ду-

шу спасаешь, нешто я тебе мешаю? А нешто имеешь обо мне попечение?

«Так-то вот скажет, и выходит по совести-то верно; Егор и замолчит, потому правильно. Придет мельник, станут они с Авдотьей угощаться. Опять Егор с разговором:

«— Что это за человек?

«— Мой друг приятный...

«— Как же ты смеешь?

«— Люблю его...

«— Да ведь я муж? Ты моя раба?

«— Я знаю, я твоя раба... а его люблю!

«И опять верно выходит, ежели, например, по совести...

Или нападет на любовника.

«— Ты как смеешь у меня в доме путать?

«— Чем я путаю?

«— Ты мне препятствуешь! Она — жена, она должна с мужем завсегда.

«— И пушай; когда тебе угодно, тогда она и при тебе. (Хитрая шельма этот мельник!) А ежели тебя дома нету по целым неделям, почему ж так и с людьми не побыть бабе-то?

«И опять так!.. Хочет Егор по правилу поступить — нет, опускаются руки!

«И жена говорит:

«— Что по закону — я всегда, я закона не нарушаю.

«И точно. Стал Егор каждую ночь дома ночевать — и ничего. И Авдотья ночует... А между прочим и с мельником.

«С тобой, говорит, по закону, а с ним – по сердцу». Вот это-то всего и обидней!.. Уж обидней этого ничего и нет;

«И все это мельник, хитрая шельма, орудовал! «Соблюдай, говорит, закон в точности; чорт с ним! не убудет!», потому что знает Егорову совесть – знает, что ему, богомольному человеку, невозможно руку поднять... Хитрая бестия!.. Запутался Егор, стал в кабак заглядывать. Ну а как стал заглядывать в кабак, пошло еще хуже. Выпьет рюмку, охмелет, тут его и начнут поддразнивать. Одни говорят: «Бей ее, подлюю! Как она смеет? Твое доброе!» Егор прибежит домой и избьет жену. Жена – в суд. А на суде, глядишь, сам Егор у нее прощенья просит, потому и Авдотья и любовник уж успели все наоборотку, то есть на совесть повернуть.

«– За что ж ты бьешь-то, – скажут: – какой ты есть человек? Какой ты угодник? Иди душу спасай, а сюда не мешайся: ведь ты знаешь, что она мне все одно что жена настоящая; как тебе не стыдно силком заставлять? – И все такое! И так доведут дело, что видит Егор, не добром он поступил, избил жену, и отстать не может, потому *мое!* Оно ведь и вправду ни за что не отстанешь...

«А то подбодрят его пьяного – бить любовника.

«И избьет. Опять любовник жаловаться. На суде все дело выйдет, присудят с мужем жить. «Да я и так с мужем живу!» Авдотья-то... «Живет она с тобой?» – «Живет!» говорит Егор... и сам же в дураках остается. Любовник говорит: «Хотя он меня и обидел, но я его прощаю за его богоугожде-

ние».

«А не то так на обоих подаст жалобу, ну, тут еще хуже. Первое дело – свидетелей нет, второе – жена закон исполняет, третье – из дома не тащит, и все правильно. Да и суд видит, что дело тут любовное и ничего не возьмешь.

«Так Егор и завяз... И перед богом виноват, и перед женою, и перед любовником. Богу измену сделал, жену насильно жить заставлял, любовника обидел, бил... И стал он пьянствовать, а расцепиться не могут! Тут уж, как виноватым-то стал, тут с ним смело стали обращаться. Мельник уж прямо стал:

«– Я у тебя, Авдотья, ночевать буду.

«– А я? – говорит Егор.

«– Ну, и ты. Ты – хозяин, я тебя не гоню... Скучно мне что-то на мельнице-то... Давай-ка водочки, выпьем лучше.

«И пьют.

«Так и посейчас идет у них канитель. «– Иди в монастырь, говорит Авдотья: я с мельником буду жить как жена с мужем», А любовник говорит: «Ты глава, я тебе не препятствую»... И Егор-то должен бы сказать: «И я вам, братцы, препятствовать не могу, потому вы по сердцу»... да в пьяном-то виде и говорит так. А всё расцепиться не могут, потому «мое», «мое доброе» – забыть этого невозможно. Ну, и путаются, свинушничают... Как только на водку деньги достает – уж и не знаю. Вот треснется где-нибудь в пьяном виде башкой об камень, вот и делу конец будет. А по мне, ко-

ли ежели делать дело правильно, взял бы топор, да и поша-
башил – либо ее, либо себя, либо его – что-нибудь одно: по
совести тут невозможно в таких делах...»

III

Пьяненький долго валялся в траве, не подавая никаких признаков жизни... Уж поздно, когда почти совсем стемнело, я увидел, что он приподнимается, что белеет его рубашка. Кое-как он поднялся и, кряхтя, пошел куда-то, на каждом шагу останавливаясь и держась за плетень. Он уж ничего не бормотал, а только кряхтел. Что бы понял я в этом пьяном мужике, подумал я, если бы его бормотанье, его пьянство не разъяснил мне Петр? И сколько не разъяснено, никем не понято этих пьяных бормотаний, и, стало быть, сколько не понято народных драм, хотя бы из-за одного этого «мое»! Не будь Петра, пьяный остался бы для меня просто пьяным, что-то бормочущим и потом валяющимся в крапиве. А ведь какая драма валялась в этой крапиве!

Примечания

Впервые опубликовано в газете «Биржевые ведомости», 1878, № 42, 11 февраля, № 45, 14 февраля.

Рассказ Успенского о тяжелой личной драме в крестьянской семье раскрывает сложность и глубину душевного мира крестьянина. Рассказ является вариантом или, возможно, наброском истории отставного солдата и его жены из повести «Тише воды, ниже травы» (цикл «Разоренье»), однако в повести семейная драма носит ярко выраженный социальный характер.